



## JN MORTEM PASSERIS LESBIAE

II

### На смерть собачки Амики

Существенное различие между переводом и подражанием заключается в томъ, что первый долженъ передавать не только общий характеръ подлинника, но и всѣ особенности его языка и архитектурнаго построения, второе же должно ограничиваться улавливаніемъ основного духа произведенія. Переводъ съ современныхъ языковъ, гдѣ стилистической комплексъ усложненъ риѳмой, представляетъ значительныя трудности для сравнительного анализа; поэтому я обращаюсь къ переводамъ съ языковъ классическихъ, чьи поэтическія произведенія лишены риѳмы и чья метрическая система легко переводится на русскую тоническую. Между созданиемъ перевода и созданиемъ подражанія есть коренное различие въ самомъ процессѣ. Творчество поэта переходитъ въ совершенно иную плоскость, какъ только онъ промѣнялъ паѳосъ вдохновенія на упорный и часто неблагодарный трудъ переводчика. При самостоятельномъ творчествѣ поэтъ, благодаря непосредственной интуиціи, безсознательно проникаясь невѣдомыми ему законами, рождаетъ непроизвольно образы, соединяясь ихъ въ сочетанія, ищетъ нужныхъ комбинацій словъ и звуковъ и, подчиняя все предумышленной архитектоникѣ цѣлаго, доводить свое произведеніе до законченности, къ которой безсознательно стремится его поэтическое чутье. Поэтъ подчиненъ лишь вѣшнимъ условіямъ употребляемаго имъ языка, въ остальномъ онъ—господинъ своего произведенія, и его сознательный выборъ изъ безсознательно возникшаго ничѣмъ не стѣсненъ. Однако, всякий, кто немного подумаетъ о сущности переводовъ, будетъ далекъ отъ утвержденья, что переводъ (поэтическій, какъ и прозаическій) есть работа исключительно механическая, требующая лишь основательнаго знанія обоихъ языковъ и способности выражать мысли въ раз-

мѣрной формѣ. Для переводчика такъ же необходима интуїція, но иного рода. Интуїція переводчика заключается въ сліяніи его съ мельчайшими желаніями автора, въ угадываніи сущности каждого слова, каждого выраженія или сочетанія словъ. Нечего говорить о томъ, что переводчикъ долженъ уловить общій тонъ подлинника и совпастъ съ нимъ виѣшнею формою. Интуїція переводчика та-же, какая должна быть у всѣхъ исполнителей въ области искусства. Пьянистъ долженъ прежде всего почувствовать въ деталяхъ, чего желалъ авторъ, и серьезному исполнителю будетъ лучшей похвалою, если авторъ скажетъ ему: „именно этого я и хотѣлъ!“ Хотя эта аналогія неполна, во всякомъ случаѣ работа переводчика болѣе приближается къ творчеству исполнительному, чѣмъ къ творчеству создающему. Отказавшійся отъ свободы переводчикъ, старается передать всѣ элементы (отъ самого общаго до самого детальнаго) переводимаго произведенія, и чѣмъ больше изъ нихъ удалось ему передать, тѣмъ совершеннѣе его переводъ, стремящійся, какъ къ предѣлу, къ полной тождественности съ подлинникомъ. Поэтому добросовѣстный переводъ никогда не можетъ и не долженъ достоинствами своими превышать подлинника. Всякое превосходство указываетъ на внесеніе переводчикомъ чего-то „отъ себя“, что противорѣчить самой сущности перевода. Переводчикъ, если даже и чувствуетъ, что онъ сильнѣе противника, долженъ собственоручно надѣть путы на рѣзвыя ноги своего Негаса и связать крылья слишкомъ разгорячившагося животнаго. Всякое внесеніе личнаго, своего немпремѣнно оскорбить поэта, за котораго переводчикъ взялся говорить на другомъ языке. Переводчикъ то же, что толмачъ, который не долженъ прибавлять ни слова къ чужой рѣчи, которую ему поручили передать. Конечно, такой переводъ, который являлся бы тождественнымъ подлиннику, — явленіе чрезвычайно рѣдкое. Первый обычный недостатокъ переводовъ (особенно съ языковъ новыхъ) тотъ, что стилистические приемы автора передаются далеко не во всей ихъ полнотѣ, отчего переводъ всегда имѣетъ разбавленный характеръ. Съ другой стороны, мы сплошь и рядомъ встрѣчаемся съ неизбѣжнымъ привнесеніемъ „своего“. Такое привнесеніе не бываетъ злоказвеннымъ, когда оно входитъ въ произведеніе лишь какъ вынужденный компромиссъ и по незначительности своей нарушаетъ подлинникъ въ минимальной степени. Въ этомъ случаѣ получается рѣшеніе задачи съ точностью, когда ошибка сравнительно ничтожна и признается, дѣйствительно, ошибкой. Такими представляются обыкновенно всѣ, даже хорошіе, поэтические переводы. Совершенно иначе приступаетъ къ своей задачѣ подражатель. Его намѣреніе — создать не тождественное, а подобное. Онъ чувствуетъ себя въ зависимости отъ подлинника только со стороны общаго тона и

элементарного построения, въ остальномъ ему предоставлена полная свобода упражнять свою творческую фантазію, варьируя, дополняя, подчасъ и исправляя подлинникъ. Задача подражателя облегчена тѣмъ, что онъ не связанъ столькими тенетами, какъ переводчикъ, но отъ подражателя требуется значительно больше чуткости и художественного такта, чтобы не дать уклониться въ несоответствующую сторону фантазіи, не идущей все время рука обь руку съ оригиналомъ. Въ русской литературѣ сравнительно не много подражаній, за то многие переводы являются полу-подражаніями. Возникаетъ естественный вопросъ, возможно ли вообще ограничить переводъ отъ подражанія, имѣя въ виду оригиналы на новыхъ языкахъ. Но при оригиналахъ греческихъ и римскихъ здѣсь вопроса быть не можетъ. Здѣсь можно дать переводъ чистый, нечистый и подражаніе; это подтверждается примѣрами Жуковскаго, Гнѣдича, Пушкина, Фета.

Среди русскихъ поэтическихъ подражаній обращаетъ на себя вниманіе стихотвореніе барона Дельвига „На смерть собачки Амики“, подражающее гендекасиллабамъ Катулла „In mortem passeris Lesbiae“, одному изъ привлекательнѣйшихъ образцовъ античной Музы. Какъ же и въ какой степени воспользовался Дельвигъ своимъ латинскимъ образцомъ? Въ послѣднихъ двухъ стихахъ Дельвигъ самъ указываетъ на свой оригиналъ. Кроме того, въ примѣчаніи къ этому стихотворенію поэтъ говоритъ: „Эта шутка написана была въ угодность одной дамы<sup>1)</sup>, которая желала, чтобы я сочинилъ на смерть ея собачки, подражаніе извѣстной одѣ Катулла: „На смерть воробья Лесбіи“, прекрасно переведенной Востоковымъ“. Хотя Дельвигъ и называется это стихотвореніе шуткой, думаю, что это не лишаетъ насъ права анализировать его, т. к. исторія литературы показываетъ, что поэты весьма серьезно относились къ своимъ „nugis“, и тѣмъ болѣе, что самъ Дельвигъ помѣстилъ свое подражаніе въ „Сѣверныхъ Цѣлтакъ“ 1828 года<sup>2)</sup>). Дельвигъ вмѣстѣ съ другими поэтами своего счастливаго времени работалъ надъ обогащеніемъ русского стихосложенія путемъ введенія размѣровъ, заимствованныхъ изъ античныхъ метрическихъ формъ. Гнѣдичъ и Жуковскій въ совершенствѣ овладѣли формой русского гекзаметра, Пушкинъ и Дельвигъ оставили блестящіе образцы элегическихъ дистиховъ, наконецъ Дельвигъ же, имѣя ближайшимъ предшественникомъ Мерзлякова, пытался передать въ русской рѣчи

<sup>1)</sup> С. Л. Пономаревой. Сочиненія бар. Дельвига подъ ред. Вал. Майкова, изд. Соколова, СПБ. 1895.

<sup>2)</sup> Стихотвореніе относится къ 1823 г.

другіе метры, почерпываемые имъ по преимуществу у пѣвица Лидіи и Левконои. Какъ Мерзляковъ, такъ и Дельвигъ не пытались непосредственно замѣнить долгіе и краткіе ударами и неударами. Подражанія античнымъ метрамъ сводились болѣею частью лишь къ приблизительному уподобленію имъ. Дельвигъ въ отношеніи разнообразія сдѣлалъ шагъ впередь сравнительно съ Мерзляковымъ. „Диєирамбъ“ на пріѣздѣ трехъ друзей (XLVIII)<sup>1</sup>) и „Видѣніе“ (XXXVII) обнаруживаются мастерское владѣніе непривычной и трудной формой стиха. Дельвигъ, какъ чуткій поэтъ и критикъ, живо почувствовалъ, какъ не вяжется риema и античная поэзія, поэтому пьесы, написанные имъ въ античномъ характерѣ и античной формѣ, не украшены риомой. Стихотвореніе „На смерть собачки Амики“ написано анапестомъ съ двумя неударяемыми конечными. Метрическую формулу гендѣласиллабъ Дельвигъ, такимъ образомъ, на тоническую не перевелъ, вѣроятно въ виду того, что ихъ метръ, даже при строгомъ соблюденіи кесуры на третьей стопѣ звучить для непривычного уха мало пріятно. Однако, не желая отрекаться совсѣмъ отъ формы оригинала, Дельвигъ сохранилъ одиннадцать слоговъ въ стихѣ. Своимъ стихотвореніемъ римскій поэтъ утѣшаѣтъ свою возлюбленную, потерявшую любимую птичку, милую наперсницу невинныхъ забавъ; утѣшаѣтъ ее шутливыми и остроумными стихами. Основной тонъ этой пьесы—шуточный. Въ чёмъ же кроется прелесть этой шутки? Катуллъ пользуется приемомъ какъ общаго, такъ и частнаго контраста. Общій контрастъ заключается въ незначительности факта кончины воробья и въ серьезности возникшихъ отъ этого чувствъ, заставившихъ, якобы бы, плакать рѣзвыхъ боговъ любви и всѣхъ чуткихъ къ прекрасному людей. Частные контрасты четыре раза на протяженіи 18-и стиховъ украшаютъ пьесу Катулла. Въ первыхъ двухъ стихахъ авторъ показываетъ намъ боговъ и людей, опечаленныхыхъ горестнымъ событиемъ, а въ третьемъ сдержанно и строго говорить:

Passer mortuus est maeas puellae!

Острой и утѣшающей блесткой врывается въ мрачные стихи слово „passer“ и сразу разрушаетъ эту мрачность, показывая фиктивность двухъ первыхъ стиховъ, вызвавшихъ печальное и сосредоточенное вниманіе слушателя. Свой диєирамбъ ласковой птичкѣ поэтъ заканчиваетъ необычайнымъ по тонкости и умѣстности „piriabat“. Слѣдующія, снова сосредоточенные, строки гласятъ:

„Qui nunc it per iter tenebricosum,  
Illuc, unde negant redire quemquam“.

<sup>1)</sup> По изданію В. Майкова.

Если читать отдельно эти два стиха, въ умѣ невольно возникаетъ представлениe о пустынныхъ поляхъ подземного царства, съ лучами асфоделей и, можетъ быть, съ самою тоскующей тѣнью одиноко блуждающей Евридики. Между тѣмъ, внимательная память напоминаетъ намъ, что это относится не болѣе, какъ къ воробью, и тогда заключительное „*priabat*“ пріобрѣтаетъ невыразимую игривую прелесть. Эти два стиха разрѣшаются бурнымъ проклятиемъ Орку, пожирающему все прекрасное. Это проклятие—самое сильное мѣсто стихотворенія и находится оно приблизительно на линіи золотого дѣленія. Въ слѣдующей строкѣ поэтъ уничтожаетъ впечатлѣніе отъ грознаго проклятъя, вновь и неожиданно напоминая о причинѣ его, о воробѣ. Слушатель не успѣлъ еще вкусить красоту этого третьаго контраста, а поэтъ, какъ бы дѣлая фигуру рѣ, въ слѣдующей же строкѣ даетъ новый быстрый контрастъ:

„O factum male! O miselle passer“!

Какъ же закончилъ великий мастеръ свою пьесу? Если бы онъ заключилъ ее расширенiemъ какой нибудь изъ контрастирующихъ сторонъ, онъ безжалостно ослабилъ бы этимъ впечатлѣніе самого противоположенія,—и вотъ игравая Муза Катулла поворачиваетъ, словно легкій флюгеръ, въ иную непредвидѣнную сторону, и передъ нами возникаетъ совершенно неожиданный и новый образъ, образъ заплаканныхъ глазъ дѣвушки.

„Tua nunc opera micas puellae  
Flendo turgiduli rubent ocelli“.

Въ этихъ заключительныхъ строкахъ проглянуло отношение, чувство самого поэта и съ очевидностью показало, что вся пьеса—только милая шутка, но шутка, такая изящная и легкая, что услыхавъ ее, должно улыбнуться и плачущая Лесбія, и Венеры, и Купидоны „et quantum est hominum venustiorum“. Архитектоническое построение пьесы, возведенное на искусномъ пользованіи контрастами,—безупречно.

Изъ этого ясно, что всякий подражатель, не слѣдующій осторожно строка за строкою, долженъ нарушить архитектоническое совершенство произведенія, и что это будетъ, безъ сомнѣнія, не къ успѣху подражанія. Первое, въ чемъ Дельвигъ отступилъ въ смыслѣ построения отъ своего оригинала заключается въ удлиненіи стихотворенія съ 18 на 32 строки. Такое удлиненіе отнюдь не вызвано художественными требованіями, т. к. длиноста всякой шутки неизбѣжно ослабляетъ ея остроту и легкость. Въ мелкихъ произведеніяхъ своихъ

Катулль достигаетъ иногда изумляющей сжатости, которой Дельвигъ въ данномъ случаѣ противопоставилъ часто свойственную ему растянутость\*). Вполнѣ очевидное шуточное настроеніе Катулловой пьесы, естественно, было правильно воспринято Дельвигомъ. Однако, совпадая съ подлинникомъ въ общемъ настроеніи, подражаніе уступаетъ ему своими художественными достоинствами. Тѣ контрасты, которые въ стихотвореніи Катулла составляютъ лучшую его прелестъ, какъ бы расплылись у Дельвига. На 32 стиха ихъ всего лишь 3. Дельвигъ начинаетъ съ воззванія Каменамъ и соотвѣтствующій Катуллову контрастъ приходится на 4—5 стихи:

„Горько плачутъ Амуры и Граціи,  
Нѣть игривой собачки у Лидіи“.

Диѳирамбъ Амики почти втрое диѳирамба воробья Лесбіи. Второй контрастъ приходится на стихи 20—21:

„И такой мы собачки липшилися!  
Какъ на Рокъ не роптать и не плакаться?“

Этотъ контрастъ, соотвѣтствующій третьему Катулла, не выдѣрживается съ нимъ никакого сравненія. Робкій, почти слезливый вопросъ замѣняетъ здѣсь проклятье Подземному Царству, такъ искренно и съ такимъ юморомъ прозвучавшее въ гендекасиллабахъ Катулла. Мотивъ путешествія въ Аидъ передвинутъ Дельвигомъ на конецъ стихотворенія. Третій контрастъ является повтореніемъ первого. Этотъ пріемъ уступаетъ пріему римского поэта, хотя даетъ Дельвигу возможность употребить повтореніе, элементъ котораго, хотя въ иномъ видѣ, есть и у Катулла:

„Passer mortuus est meae puellae,  
Passer, deliciae meae puellae!“

Осторожнѣй предположить, что Дельвигъ прибѣгъ къ повторенію независимо отъ повторенія Катулла, подчиняясь требованію разбить чѣмъ нибудь однообразіе слишкомъ длиннаго стихотворенія. Послѣднія строки Дельвига запечатлѣны той же чертой Генія, что и заключительные два стиха Катулла. Они поражаютъ такой же неожиданностью и такъ же мастерски замыкаютъ пьесу непредвидѣннымъ уклоненіемъ и рожденіемъ новаго образа:

„Ужъ Амика ушла...  
Въ тѣ сады, гдѣ воробушекъ Лесбіи  
На рукахъ у Катулла чиликастъ“.

\* ) Этимъ недостаткомъ, напр., страдаютъ: „Влѣніе“ и „Идилліи“.

Угадать общій тонъ подлинника значитъ не только постичь его основное настроение, но и почувствовать его художественное равновѣсіе, которое подражатель долженъ строго соблюсти при всей далекости подражанія отъ оригинала. Съ этой точки зрѣнія баронъ Дельвигъ заслуживаетъ немалыхъ упрековъ. Стиль и языкъ Катулла въ этомъ стихотвореніи, равно какъ и въ другихъ пьесахъ, преимущественно лирическаго или эпиграмматического характера, обнаруживаетъ сдержанность и простоту, вообще свойственная всякой молодой поэзіи, не достигшей своего апогея, еще очень далекой отъ литературнаго *багоссо*. Языкъ, почти не разукрашенный, скучность на образы, простота и безыскусственность этихъ образовъ вызываютъ подчасъ даже ложное впечатлѣніе бѣдности. Между тѣмъ, сила гenія проявляется съ необыкновенной непосредственностью въ этомъ юношескомъ стилѣ, лишенномъ всякой подмазки и прикрасы, и производить то сильное и свѣжее впечатлѣніе, какое производятъ даровитые примитивы. Въ поэзіи начального периода каждый, всегда рѣдкій, образъ, каждое умѣренное украшеніе заставляетъ особенно цѣнить себя. Поэтому мы съ особенной радостью останавливаемся на тѣхъ рѣдкихъ образныхъ красотахъ, которыми иногда дарить насы Катулль (напр. *Cum desiderio meo nitenti* (II)) или на заплаканныхъ глазахъ Лесбіи, поэтому мы особенно цѣнимъ Венеръ и Купидоновъ въ этомъ произведеніи, которое такъ сдержанно въ смыслѣ излишнихъ украшеній и внѣшнихъ эффектовъ. Дельвигъ по стилю своему въ рѣшительномъ противорѣчіи съ Катулломъ. Разбираемое стихотвореніе Дельвига нѣсколькими чертами обнаруживаетъ тотъ источникъ, откуда почерпалъ поэтъ свой античный матеріалъ. Подражаніе Дельвига моложе Катуллова воробья на добрыя полстолѣтія. Оно вводить насы въ поэзіи августовскаго периода. Этотъ периодъ высокаго расцвѣта римской поэзіи былъ наиболѣе цѣнимъ и знакомъ Дельвигу. И это явленіе—характерное для эпохи. Поэты золотого периода и на первомъ мѣстѣ Гораций вліяли больше всего на русскихъ романтическихъ классиковъ (къ нимъ присоединяется видное вліяніе и греческихъ поэтовъ, по преимуществу Анакреонта, Пиндара и Феокрита). Баронъ Дельвигъ былъ едва ли не самымъ яркимъ горацианцемъ среди всѣхъ поэтовъ эпохи. Это вліяніе золотого периода опредѣленно сказалось и въ пьесѣ „На смерть собачки Амики“. Въ стилѣ Дельвига мы уже не обнаруживаемъ черты поэтическаго примитива. Весь масштабъ увеличенъ; любовь къ грандиозному и стройному, предвѣстье надвигающагося *багоссо*, заставляетъ совершенно измѣнить восхваленіе воробья. У Катулла воробей описывается въ границахъ реалистической, изящной картинки; у Дельвига читаемъ:

„И Діана, завидуя Лідії,  
Любовалась неволино Амікою!  
Ахъ, она была краше, игривѣе  
Рѣзвыхъ исовъ звѣроловицы Деліи  
Съ ея шерстью пуховой и вьющейся.  
Лучшій шелкъ Индостана и Персіи  
Не равнялся ни лоскомъ, ни мягкостью.

Это описание характерно для всякаго искусства періода „расцвѣта“, когда непосредственность и примитивный реализмъ замѣняются образностью болѣе стройной, но менѣе индивидуальной и характерной красоты. „Амуры и Граціи“ замѣняютъ у подражателя „Cupidines“ подлинника; но Камены, Аматусія, Лідія и Марсъ принадлежать всецѣло къ инвентарю августовской поэзіи (между прочимъ, всѣ эти четыре имени Катулломъ ни разу употреблены не были). Катуллъ только тамъ, гдѣ онъ подражаетъ александрийской поэзіи, оправдываетъ данный ему эпитетъ *doctus*. Перегроможденіе лирическаго стихотворенія миѳологическими упоминаніями принадлежить къ пріемамъ послѣдующаго періода, Проперція, а главнымъ образомъ, Гораци, у которого лишь немногія лирическія пьесы обходятся безъ многочисленныхъ миѳологическихъ имень. Наконецъ, стихи 22—23 уже вполнѣ определено переносятъ нась въ золотой періодъ. Одно слово „граждане“ дышитъ духомъ Гораци, а упоминаніе о Бавіи должно быть почерпнуто изъ Вергилія (*Bucolica ecl. III*). Катуллъ, удѣлившій немало вниманія, какъ политическимъ памфлетамъ, такъ и литературно-критическимъ выпадамъ, никогда, однако, не позволялъ себѣ нарушать ими своихъ лирическихъ стиховъ. Имя Лесбіи нигдѣ не сталкивается съ именами политическихъ или литературныхъ личностей. Это уклоненіе Дельвига совсѣмъ не въ духѣ поэзіи Катулла. „*In mortem passeris Lesbiae*“—одно изъ первыхъ стихотвореній, посвященныхъ Катулломъ Лесбіи; на первыхъ порахъ поэту было еще невозможно называть ее по имени, т. к. Афродита тогда еще не соединила ихъ узами любви. Поэтъ называетъ свою возлюбленную нѣжнымъ и простымъ названіемъ „*thea puella*“ . Дельвигъ замѣнилъ это выраженіе именемъ Лідія, въ чемъ, конечно, также повиненъ Флаккъ. Однако, слѣдуетъ замѣтить, что Дельвигъ писалъ свое подражаніе для посторонней дамы и такимъ образомъ сами вицѣшнія условія не позволяли ему называть ее въ стихотвореніи „*thea puella*“...

Этотъ опытъ сравнительного анализа не можетъ имѣть никакой самостоятельной цѣли, если на него смотрѣть, какъ на критику русскаго подражателя. Но всякая теорія, какъ и теорія подражанія и

перевода требуетъ своихъ единичныхъ иллюстрацій. Съ другой стороны каждый подобный разборъ долженъ облегчать задачу выясненія, какого рода былъ классицизмъ 20-ыхъ годовъ. Задача эта тѣмъ болѣе интересна, что въ настоящее время русская поэзія переживаетъ періодъ своего третьаго классицизма. Между классицизмомъ Сумарокова, Гнѣдича и Вячеслава Иванова общимъ является лишь источникъ, многообразный и безконечно богатый духовными сокровищами античный міръ. Анализъ и опредѣленіе всѣхъ возрожденій классицизма и въ частности возрожденій въ русской поэзіи одна изъ самыхъ благодарныхъ и еще новыхъ проблемъ для историковъ искусства и литературы.

Старки, 1914 г.

**Сергѣй Шервинскій.**

